

5. «АВТОБИОГРАФИЯ (ПОСМЕРТНАЯ)

СОВЕТСКАЯ СТРАНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ СВОИХ УЧЕНЫХ

Октябрьская революция претворяет в жизнь лозунг, объявленный Фердинандом Лассалем о «союзе науки и рабочих, которые, слившись воедино, раздавят в своих железных объятиях все препятствия, стоящие на пути к культуре» (из записок речи Лассала на его процессе 16 янв. 1863 г.).

Первоначальная, обычно выжидательная, позиция научных работников по отношению к пролетарской революции сменилась деловым сотрудничеством с революционной властью, властью, ставящей себе целью перестройку огромной страны по заранее выработанному и научно обоснованному плану. Уже на 7-м году революции тов. Ю. Ларин писал, что «пролетарский режим уже разрешил задачу приобщения к действительно находящимся в его распоряжении ресурсам того концентрированного воплощения всей технической культуры, оставшейся в распоряжении страны от ее прошлого, которое заключено в головах этих нескольких сотен человек» (Ю. Ларин «Интеллигенция и советы». ГИЗ. 1924 г.).

Под руководством коммунистической партии миллионы трудящихся перестраивают в Советском Союзе весь жизненный уклад и в первую очередь – хозяйство, на новых, социалистических основах, и «несколько сотен человек», наши советские ученые, иногда сами этого не замечая, находятся в первых рядах на фронте социалистического строительства.

В тиши лабораторий и научных институтов, в далеких экспедициях ученые СССР вырабатывают и кропотливо проверяют научные методы, с помощью которых трудящиеся Советского Союза легче и быстрее смогут рационализировать наше хозяйство и весь уклад советской жизни.

И поэтому широкие трудящиеся массы проявляют большой интерес к жизни и деятельности научных работников.

Нашей советской молодежи весьма полезно узнать о трудностях, через которые должны были пройти те, чьи имена теперь известны всему ученому миру.

Мы обратились к виднейшим советским ученым с просьбой предоставить свою автобиографию, где, кроме обычных биографических сведений, должны быть очерчены: 1) бытовая и социальная обстановка, в которой сложилась творческая личность ученого; 2) проблемы, которые ставил перед собой научный работник; 3) методы (основные), с помощью которых эти проблемы разрешались; 4) те внешние обстоятельства, которые толкали мысль ученого к правильному разрешению пос-

тавленной проблемы; 5) проблемы, разрешить которые предстоит в той области науки, в которой преимущественно работает, данный ученый.

В журнале «Огонек» за 1927 г. мы опубликовали ряд автобиографий в значительно сокращенном виде, в частности в № 33 в 1927 году была опубликована в сокращенном виде автобиография недавно скончавшегося почетного академика Владимира Михайловича Бехтерева.

Опубликованием данной автобиографии полностью, мы начинаем в Библиотеке «Огонек» серию, в которой будут помещены автобиографии президента Академии наук СССР А.П. Карпинского, академиков А.Ф. Иоффе, Н.Я. Марр, В.Н. Ипатьева, С.Ф. Ольденбурга, почетного члена Академии наук О.Д. Хвольсона, величайшего путешественника П. К. Козлова и ряда других ученых, работы которых известны далеко за пределами Советского Союза.

Максим Горький в письме от 3 апреля 1927 г., между прочим, спрашивает:

«Будете ли вы продолжать печатание очень удачных статей: Советская страна должна знать своих ученых? И почему бы «Огоньку» не повторить в сокращенном виде Павленковские биографии».

Если ознакомление широких читательских масс с жизнью и деятельностью виднейших советских ученых хоть сколько-нибудь поможет раздвинуть стены кабинетов наших ученых, приблизит читателя к лаборатории научной мысли, познакомит его с бытом наших ученых и установит правильный взгляд на важность и ценность научной работы, мы будем считать, что цель наша достигнута.

Л. Рябинин.

Автобиография президента Государственной Психо-Неврологической Академии и директора Государственного Рефлексологического Института по изучению мозга – академика – профессора Владим. Мих. Бехтерева.

Мое раннее детство протекло частью в условиях сельской жизни наиболее глухих мест Вятской губ., например, в полурусском, полувотятском селе Унинском, Глазовского уезда, частью в небольшом, не менее, пожалуй, захолустном гор. Глазове, частью в самом городе Вятке.

Мои детские впечатления были самые отрадные, несмотря на то, что я потерял отца на девятом году жизни и в семье, кроме матери, нас осталось трое братьев: старший – Николай, средний – Александр и младший – я. С братьями у нас установилась взаимно-дружеская жизнь, но со смертью отца началась для нас крайне тяжелая в материальном отношении жизнь. Мать и мы трое остались почти без всяких средств к существованию, кроме небольшого двухэтажного дома в г. Вятке с небольшим флигельком, в котором вся семья и уютилась. Скучный доход в виде ежемесячной платы с жильцов, что-то в общей сложности около 20 руб. в месяц – вот все, что могло быть ресурсами к предстоящей жизни. К счастью, мать, будучи женщиной образованной по своему времени, поставила себе целью жизни дать своим детям образование.

О своем же отце скажу лишь несколько слов, ибо его мала помню. По нраву он был человеком добродушным и живым, несмотря на свою болезнь – чахотку.

Как сейчас, помню целую комнату в селе Унинском, отделенную решеткой от входа, с большим деревом посередине, где птицы порхали и гнездились, пользуясь той свободой, какую допускало помещение.

Благодаря, очевидно, этому, уже в детстве у меня развилась невинная страсть собирать гербарии, коллекции насекомых, а позднее и менее невинная страсть к охоте, которая, впрочем, увлекала более всего тем, что давала возможность быть среди природы, слушать крик болотного коростеля, водяной курочки, заунывный голос иволги, кудахтанье тетеревов. Все это со временем отпало, но оставило неизгладимую любовь к естествознанию. Эти условия вовлекли меня еще в гимназии в чтение книг по естествоведению и наукам, над которыми я просиживал ночи. Большую службу в этом отношении мне сослужила Вятская публичная библиотека, богато снабженная, в числе других, и книгами естественно-научного содержания. Полагаю, что не было сколько-нибудь известной популярной книги по естествознанию в каталоге библиотеки, которая бы не побывала в моих руках и не была более или менее основательно проштудирована с соответствующими выписками. Нечего говорить, что такие книги того времени как Писарева, Португалова, Добролюбова, Дрэлера, Шелгунова и др. прочитывались с увлечением по много раз. Нашумевшая в то время теория Дарвина была, между прочим, предметом самого внимательного изучения с моей стороны. На беду, как-то в 4-ом классе гимназии, была задана тема «Человек – царь природы». Я решил, что такая тема очень подходит к изложению моих познаний в части, относящейся к дарвинской теории. Набравшись смелости, я постарался развить эту теорию в применении к заданию. Посидев несколько вечеров, написав и исправив написанное, я перебежал и подал довольно солидную тетрадь нашему учителю словесности. В классе на моем сочинении он особенно остановился, не в пример прочим, и стал развивать мысли, что теория Дарвина подвергается сомнению, что она не доказана и неверна и после этого назидания, которое я должен был выслушивать стоя, по крайней мере, с ¼ часа, передал мне мое сочинение с баллом 3 с двумя минусами.

Наконец, я дотянул до 7 класса, к концу которого нас застала толстовская реформа с прибавлением 8 класса, со сдачей экзаменов на аттестат зрелости. Эта реформа нас всех буквально огорошила. Но выручил случай. Тогдашняя медико-хирургическая академия объявила о приеме на прежних основаниях. Вести об этом в Вятке до нас, гимназистов, дошли очень поздно. Узнав об этом случайно от заинтересованных в этом троих товарищей, я решил поехать за счастьем вместе с ними.

Время моего пребывания в академии было временем бурных студенческих волнений. То и дело были студенческие сходки, «студенческие беспорядки» по тогдашней терминологии, демонстрации и, между прочим, знаменитая на Казанской площади и т. п. Особенно бурными были сходки в стенах академии, из-за недовольства проф. Ционом, закончившиеся выходом последнего из академии. С одной стороны, не иссякло еще стремление хождения в народ в целях его просвещения по примеру известной Брешко-Брешковской, с другой – выявлялись уже новые устремления в сторону террористических актов, которые позднее обозначились именами Фигнер, Веры Засулич, Халтурина, Желябова, Перовской и мн. др. Эти имена, когда я был уже молодым врачом, были у всех на устах и призывали всю передовую молодежь, если не к действию в духе тех же устремлений, то, во всяком случае, к глубоким симпатиям к каждому террористическому акту.

Но еще во время моего студенчества некоторая его часть направилась на фабрики для политической пропаганды и, объединившись с рабочими на определен-

ной платформе против тогдашней власти, устроила знаменитую демонстрацию на Казанской площади 6 декабря 1876 г. Как известно, это было первое выступление интеллигентной молодежи с рабочим классом, и, само собой разумеется, выступление было организовано не иначе, как по инициативе революционной интеллигенции. В этом отношении я в корне расхожусь с Плехановым, у которого читаем: «В Чернышевской демонстрации (т. е. в похоронной демонстрации замученного в тюрьме студента Чернышева. Авт.) рабочие не принимали участия... И вот рабочим захотелось сделать свою демонстрацию, и при том такую, которая своим резко революционным характером совершенно затемнила бы демонстрацию интеллигентов».

Прежде всего, в чернышевскую демонстрацию студенчество не могло привлечь к участию рабочих просто потому, что замученный студент взбудоражил умы студенчества, а времени было недостаточно, чтобы организовать еще и рабочую демонстрацию. Другое дело – казанская демонстрация, для подготовки которой было достаточно времени, и на которой впервые приняли участие рабочие вместе со студенчеством. Но можно ли допустить, что рабочим захотелось устроить свою демонстрацию, – выходит, как будто, в виде компенсации за неучастие в чернышевской демонстрации. Конечно, нет. Очевидно, Плеханов упустил из виду закон эволюции, которому подлежало и народничество. Несмотря на первоначальную идеологию народничества в сторону поднятия крестьянства, в последующее время внимание революционной интеллигенции, несомненно, направилось и на рабочую массу, среди которой в 70-х годах, главным образом, революционным студенчеством, в том числе и нашими товарищами по академии, была поведена усиленная пропаганда. В силу этого на казанскую демонстрацию, состоявшую в большинстве из студенчества, откликнулся и рабочий класс, хотя и в меньшинстве, всего 200-250 человек, не так, как предполагалось, но, во всяком случае, не потому, что будто бы (по утверждению Плеханова) «рабочим захотелось устроить свою демонстрацию особо». На казанской демонстрации студенчество играло руководящую роль, говорило зажигательные речи, выкидывало над головами толпы революционные лозунги на красных пузырях, взвивавшихся кверху в разных местах сплотившейся толпы. Не отставали от студенчества и рабочие ни в речах, ни в действиях. Рабочий Яков Потапов, поднятый на руках, развернул перед толпой знамя с надписью «Земля и Воля» при шумной овации всей толпы.

Но вся эта бурность студенческой жизни, постоянная тревога за возможность подпасть под действие политической репрессии со стороны зоркого ока власти, хотя и затрудняла прохождение курсов, но все же не отстранила меня от занятий по академии, которым я отдавался всегда с жаром в свободное время. Какой-то счастливый рок спас меня от ареста и других последствий суровой Немезиды, которые постигли многих из моих сородичей и ближайших товарищей. Как раз не задолго до ареста многих из моих сородичей и товарищей по курсу, в конце 1873 года, я заболел тяжелой неврастенией и был помещен в клинику проф. Балинского, но вскоре оправился.

Проходя курсы академии, я интересовался почти всеми предметами, каждым в своем роде, но, дойдя до 4-го курса, я остановился на специальности нервных и душевных болезней, которые читались до сего времени И. М. Балинским и, за его выходом по выслуге лет с 1876 г., временно его замещавшим И. П. Мержеевским, впоследствии профессором психиатрии в академии. Эта специальность мне казалась из всех медицинских наук того времени наиболее тесно связанной

с общественностью и, кроме того, увлекала вопросами о познании личности, связанными с глубокими философскими и политическими проблемами, и это решило мой выбор.

Небольшой перерыв в моих студенческих занятиях произошел в период весны и лета 1877 года, когда я вместе с несколькими товарищами студентами отправился на театр военных действий на Балканах. Тогда же я начал свою литературную деятельность, корреспондируя с театра военных действий в «Северный Вестник», и затем кое-что из санитарной области военного времени напечатал в «Русской Правде». И то и другое под псевдонимом «Санитар» (1).

По окончании академии мне посчастливилось по конкурсу остаться для подготовки к профессорской деятельности.

Состоя в Институте усовершенствования врачей, я избрал своей специальностью клинику проф. И.П. Мержеевского. В виду же незаконченности военного положения (до Берлинского трактата) оказалось возможным вступить в Институт для подготовки к профессорскому званию лишь в 1881 году. Но и все предшествовавшее время, в положении прикомандированного к клиническому военному госпиталю врача, мне удалось провести в научных занятиях при той же клинике.

Начав заниматься по нервным и душевным болезням, вскоре я должен был убедиться, что анатомо-физиологическая база этой важнейшей отрасли медицины до чрезвычайности не разработана, и что развитие учения о нервно-психических болезнях не может осуществляться без выяснения вопросов, связанных со строением и функциями мозга. В то время по отношению к мозгу имело еще полное для себя оправдание старое выражение: *“Rexturaobscura, funcionesobscurissimae”* («строение темно, функции весьма темны»). Желание пробить брешь в этой темноте, пролить в нее какой-нибудь свет и послужило основанием к тому, что, наряду с клиникой, я с самого же начала занялся изучением мозга и вообще принялся за разработку вопросов, связанных с его строением и функциями.

В 1881 г. мне удалось, как говорили тогда, блестяще защитить докторскую диссертацию на тему о температуре тела душевнобольных. Все вместе взятое в том же году дало мне возможность, согласно предложению И.П. Мержеевского, выступить аспирантом на звание приват-доцента по душевным и нервным болезням. По прочтении двух пробных лекций в конференции академии, я, таким образом, еще до командировки за границу успел приобрести звание приват-доцента по душевным и нервным болезням.

Надо сказать, что очень рано меня посетила любовь, и я женился уже вскоре по окончании курса на Наталии Петровне Базилевской, дочери передового земского деятеля на юге, переехавшего затем на службу в г. Вятку и жившего с семьей квартирантом в нашем доме. Там и произошло мое первое знакомство с моей будущей женой. Женитьба, однако, не отвлекла меня от научных занятий, но все же вынуждала к врачебной практике, ибо скудного жалованья начинающего военного врача, равнявшегося в то время 333 р. с 33 коп. в год, конечно, не хватало даже и на жительство холостяка.

В положении начинающего врача, вынужденного искать заработок помимо своей службы, да еще готовящегося к дальнейшей научной работе, довольно трудно было уделять время общественной деятельности, которая к тому же для того времени могла сводиться к революционному подполью; но все же, помимо научных работ, я не весь погрязал в болоте врачебно-практической деятельности, но отдавал то или другое время и интересам вновь обострившейся тогда, после

жестокой репрессии, связанной с подавлением народничества, революционной общественности. Чаще всего на своих скромных врачебных приемах мне приходилось встречаться с людьми, которые, стоя ближе к жизни, могли в приятельской беседе осведомлять меня о положении общественного пульса и за этими разговорами, мы, бывало, засиживались многими часами. К счастливым моментам этих бесед относится одно событие в моей жизни, которое вспоминается мне теперь с некоторым удивлением, и о котором мне напомнил много лет спустя, в период временного правительствования, известный анархист Кропоткин. Случилось так, что мы ехали с Кропоткиным в одном вагоне на знаменитое в своем роде, но совершенно бесплодное по своим результатам демократическое совещание в Москву. Узнав, что едет в соседнем купе Кропоткин, я хотел с ним познакомиться, ибо его имя импонировало мне, с одной стороны, его революционным прошлым и, с другой стороны, тем, что мы находились с ним в научной связи по вопросам, касающимся взаимопомощи, как важного фактора в эволюционном процессе, о чем мне приходилось писать неоднократно (2). Он вышел в коридор, и здесь мы встретились. Я назвал свое имя. «Ах, я вас знаю, — ответил он, — вы спасли мне жизнь». — Как так? Ничего не припоминаю. — И он рассказал мне, как, когда он жил в Париже, в мансардах, пришел к нему один молодой человек и заявил о необходимости принять меры предосторожности в виду того, что в Петербурге, в «священной дружине», возглавляемой тогдашним командующим петербургским военным округом, вел. кн. Владимиром Александровичем, созрел план убийства Кропоткина за границей. Он переспросил пришельца: «От кого это оповещение?» Ответ указал на меня. «В таком случае, добавил Кропоткин, известие заслуживает доверия». — «Я принял меры, — добавил Кропоткин, — поспешив своим переездом из Парижа». Дальнейший наш разговор касался чисто научной темы и Кропоткин с увлечением стал обмениваться со мной мыслями о законе взаимопомощи в живой природе.

Рассказ Кропоткина напомнил мне почти забытое мною событие. Во время одной из бесед на врачебном приеме мы разговорились с одним из хорошо знакомых мне пациентов о «священной дружине», и он мне под большим секретом передал, как новость, циркулировавший в сферах слух об особом постановлении «священной дружины» насчет убийства за границей опасного анархиста Кропоткина, бегство которого из-под стражи Николаевского госпиталя явилось в свое время в буквальном смысле слова ошеломляюще-сенсационным событием. Оказалось, что один из близких моих знакомых в скором времени должен был ехать в Париж. Ему и была передана мною соответствующая информация с непременным условием отыскать в Париже Кропоткина и предупредить его о готовящемся заговоре с целью убийства его.

После того, как известно, появилось в заграничной печати письмо Кропоткина с предупреждением, что если нападение на него совершится, то имена заговорщиков, которые ему хорошо известны, будут немедленно разоблачены в печати.

Будучи отправлен за границу, весной 1884 г., первые несколько недель я знакомился в Берлине с постановкой клинического дела по нервным и душевным болезням у лучших профессоров того времени (Вестфаль, Мендель и др.), а по физиологии начал было работать у проф. Кронекера в Физиологическом институте знаменитого Дюбуа-Раймонда. Но, посетив затем Лейпциг в течение лета 1884 года, я впервые встретился в лаборатории проф. Флексига с чрезвычайно продуктивной методикой исследования проводников мозга на срезах из мозгов человеческих зародышей и младенцев. К этому времени был только что

опубликован проф. Вейгертом особый способ окраски мягкотных волокон, хорошо их выделяющий на фоне безмякотных волокон в неразвитых мозгах зародышей и младенцев. Это дало мне мысль широко использовать новый для того времени эмбриологический метод в целях изучения проводящих путей мозга, о чем я мечтал еще с первого своего шага вступления в клинику нервных и душевных болезней. В силу этого я переселился из Берлина в Лейпциг к проф. Флексигу и засел за штудирование мозга по новому, еще не использованному в то время в достаточной мере, эмбриологическому методу, или методу развития. Несколько месяцев, проведенных мною в Лейпциге у творца этого метода проф. Флексига, дали мне богатую научную жатву, а продолжение этих исследований, по возвращении моем в Россию, дало мне возможность разработать в возможной для того времени полноте строение мозга и изложить результаты своих исследований первоначально кратко, а затем в двухтомном труде под заглавием «Проводящие пути спинного и головного мозга». Этот труд, награжденный Российской академией наук премией Бера, явился таким образом оригинальным большим трудом в этой до того времени еще мало разработанной области, который до известной степени завершил первый этап в моей научной деятельности, направленной к изучению строения мозга.

Само собой разумеется, что за границей меня интересовала не одна анатомия мозга, но и гистология и физиология его центров, чем я занимался ранее. Поэтому в том же Лейпциге я начал занятия в институте знаменитого физиолога Людвига Гауле. С другой стороны, меня не мог не интересовать семинарий по экспериментальной психологии у не менее известного проф. В. Вундта, где я стал заниматься в течение зимы 1884/1885 г. Для завершения своей заграничной командировки я отправился в Париж к проф. Шарко, где в старом Сальпетриере он изучал в то время истерию, и где научно устанавливалось им учение о гипнозе.

Я имел возможность продемонстрировать проф. Шарко свои препараты мозга, изготовленные по эмбриологическому методу, которые заинтересовали знаменитого клинициста новизной метода и ярким выделением проводящих путей, и расположили его ко мне, ибо, в свою очередь, он тотчас же пригласил ко мне одну из больных клиники и продемонстрировал на ней особо интересное явление в гипнозе в виде повышенных нервно-мышечной возбудимости.

На обратном пути из Парижа в Россию я остановился в Мюнхене для ознакомления с лабораторией и научными достижениями известного в то время другого анатома и психиатра Гуддена, и, наконец, побывав в Вене для ознакомления с условиями научной работы у старого знатока мозга и анатома-психиатра Мейнерта, я вернулся в Россию, получив назначение профессора психиатрии в Казанском университете.

Как ни лестна была для меня, тогда молодого еще врача, 28 лет, по возвращении из-за границы профессура в Казани, но я оставил за границу с тяжелым чувством расставания с чем-то более чем обаятельным и дорогим моему сердцу. Скажу более: профессура меня перестала привлекать одно время. Будучи весной 1884 г. выбранным на кафедру в Казани, еще до своего отъезда в заграничную командировку, я должен был отказаться туда поехать, предпочитая занятия за границей, которые уже тогда мне предвиделись, вследствие избрания меня на этот предмет конференцией академии. Но меня все же просили не отказываться впредь от профессуры в Казани. Затем, когда был введен университетский устав 1884 г., я, уже будучи за границей, получаю новое приглашение на кафедру в Казань, на

этот раз уже от министра Делянова, но и тогда я все же решил отказаться от профессуры. Однако, формальный отказ по некоторым соображениям я предпочел заменить неприемлемыми, как мне казалось, условиями с моей стороны, которые я считал необходимым выставить в ответ на пригласительную бумагу министра. Я сообщил, что согласиться на профессуру в Казани я мог бы лишь в том случае, если бы была устроена в Казани специальная клиника, которой в то время еще не было, чтобы была устроена и оборудована особая лаборатория, которой также не было, чтобы учреждена была новая не существовавшая ранее должность ассистента и, кроме того, так как я нахожусь в заграничной командировке, то, чтобы мне была предоставлена ранее всего командировка от министерства народного просвещения за границу. Считая, что таким ответом я совершенно сжигаю себе корабли по отношению к профессуре, я вполне успокоился, продолжая свою научную работу за границей. Но через некоторое время я получаю ответную бумагу, в которой сообщалось, что все заявленные мною требования удовлетворяются; что же касается заграничной командировки, то мне предоставили ее сохранить по военному ведомству от академии, а назначение мое последует к концу лета 1885 г. Пришлось согласиться, и этим актом было предрешиено перенесение моей научной деятельности после заграницы в Казань.

Девять лет, проведенных мною в Казанском университете, сослужили мне большую службу и в научном отношении. В большой и образцовой для того времени окружной психиатрической лечебнице, директором которой за год перед тем был назначен мой бывший сотрудник по клинике в Петербурге д-р Л.Ф. Рагозин, и где я имел свою клинику, я встретил огромный клинический материал по душевным болезням. Здесь, между прочим, настойчиво проводилась Л.Ф. Рагозиным новая для того времени система нестеснения (no-restraint) в содержании душевно-больных, и я вспоминаю с удовлетворением совместную с ним в этом отношении работу. По нервным же болезням я мог использовать материал в Казанском военном госпитале и в большой земской больнице; с другой стороны, университет дал мне возможность устроить в его стенах первую для того времени психо-физиологическую лабораторию для научных изысканий в области анатомии, физиологии и экспериментальной психологии. Благодаря этому мне удалось в Казани провести и закончить часть анатомических работ по мозгу и подготовить уже тогда первое издание «Проводящих путей». Кроме того, в Казани же, в числе первых из русских ученых, я стал изучать и вводить в практику гипноз и внушение и написал по этому предмету ряд своих работ. Здесь в Казани образовалась и первая школа моих учеников, из которых вышли будущие профессора П.О. Останков, Б.И. Воротынский и директоры и врачи больших психиатрических учреждений – д-ра Васильев, Диомидов, Мальцев, Мейер, Колотинский, Реформатский и др. Благодаря образовавшейся школе, у меня явилась возможность учредить при университете Общество невропатологов и психиатров, которое продолжает свою работу и поныне. Здесь же я начал издавать журнал «Неврологический Вестник» и выпустил в свет двухтомное издание под заглавием «Нервные болезни в отдельных наблюдениях».

Но, само собой разумеется, особым удовлетворением явилось для меня моральное единение с молодежью, слушавшей мои теоретические лекции в здании университета, а клинические в окружной казанской лечебнице. Как это ни странно, но в числе их, быть может, невольным слушателем был и знаменитый впоследствии писатель Максим Горький (Пешков), чего я, впрочем, в то время и не подозревал, и о чем он сам напомнил, спустя долгий срок, уже в период Октябрьской

революции. Когда мы встретились с ним в Петрограде в послеоктябрьский период, кажется, в издательстве у Гржебина, к редакционной коллегии которого он имел тогда близкое отношение, он обратился ко мне со словами: «А вы знаете, что я был одним из ваших слушателей?» Я, конечно, удивился и получил ответ: «Это было в Казани, когда к вам ездили студенты на лекции в окружную лечебницу, за город; с ними и я приезжал в эту лечебницу продавать булки студентам, а когда, бывало, студенты войдут в аудиторию, то я незаметно для других слушал вашу лекцию о больных через щелку двери». Мы рассмеялись, но при этом рассказе я стал припоминать, что в студенческой среде того времени не мало было толков о каком-то интеллигентном булочнике, к которому, сколько я припоминаю, студенты в разговоре всегда относились с необычным уважением (3)

Про казанский период своей деятельности скажу в заключение, что я так был удивлен научной работой в симпатичном провинциальном университете, всегда поддерживавшем научные связи с Петербургом, и так сжился с лучшими научными представителями его славного своими традициями медицинского факультета, как проф. Виноградов, (к сожалению, умерший вскоре после моего приезда), Н.О. Ковалевский, И.М. Догель, К.А. Арнштейн, Зайцев и др., что когда стали меня звать в мою alma-mater – Военно-медицинскую академию на кафедру моего учителя проф. И. П. Мержеевского, оставившего службу за выслугой лет, то я внутренне запротестовал было и вообще обнаружил не мало колебаний, пока мне не написали из академии, что дело идет уже не о замещении мною кафедры в академии, но и о моем замещительстве в Казани. Пришлось, таким образом, согласиться, и, конечно, потом я в этом не раскаялся, ибо столица и отдаленный провинциальный город – дистанция огромного размера в смысле масштаба и научно-практической, и, в особенности, общественной деятельности.

По приезде в Петербург здесь, прежде всего, пришлось подумать об устройстве самой клиники и о клиническом материале. Правда, в то время была только что выстроена новая психиатрическая клиника на место старой, но в ней для лаборатории были отведены три небольших комнаты, и не было еще здания нервной клиники, о постройке которой пришлось хлопотать уже мне.

Но когда все это устроилось, когда расширились лаборатории, когда были оборудованы соответственным образом анатомическая, физиологическая и объективно – психологическая и гипнологическая лаборатории и кабинеты, когда была благоустроена сама психиатрическая клиника с введением в нее гражданских бесплатных больных по выбору профессора, чего ранее не было, когда затем в 1907 г. была выстроена, в связи с психиатрической, образцовая нервная клиника и при ней особое нервно-хирургическое отделение с особой хорошо оборудованной операционной, где под моим первоначальным руководством стали впервые осуществляться операции над нервными больными не только хирургами, но и невропатологами – моими учениками, подготавливая тем новую для того времени область хирургической невропатологии, – тогда, можно сказать, клиника достигла апогея своего благоустройства и сделалась важным научным центром в области неврологии вообще, и в частности – в области невропатологии и душевных болезней.

К этому центру и стали стремиться отовсюду врачи, желающие совершенствоваться в области неврологии и психиатрии. Закипела работа, как в клинических отделениях, так и в лабораториях клиники. Были периоды, когда научной работой по разным вопросам неврологии, психиатрии и психологии было занято около 40 и более врачей. За время моей научной деятельности в академии мне уда-

лось опубликовать, в виде сводного сочинения, большой трактат под заглавием «Основы учения о функциях мозга» в 7 выпусках, переведенный на немецкий и французский языки (частью) и, сверх того, мною был разработан большой клинический материал, давший возможность выпустить в свет «Общую диагностику нервных болезней» (2 тома) и «Невропатологические и психиатрические наблюдения и исследования» (2 выпуска), наряду с целым рядом работ, помещаемых в редактируемых мною журналах «Обозрение Психиатрии», «Неврологический Вестник» и других органах печати.

Здесь же, в лаборатории клиники, возникла впервые и та научная дисциплина, которая первоначально обозначалась мною «объективная психология», и которая затем была переименована мною в рефлексологию, и подход к которой начался еще во время моих работ в Казанском университете.

Ряд работ, осуществленных в моей лаборатории мною и моими сотрудниками, дали мне возможность уже с 1907 г. начать, печатание большого издания под названием «Объективная психология» (три выпуска), а позднее в 1918 г. вышла первым изданием моя книга «Общие основы рефлексологии», являющаяся дальнейшим развитием и углублением первой.

Очень лестную рецензию для моих трудов по рефлексологии, между прочим, дало Государственное издательство в лице неизвестного мне редактора в предисловии к изданной ими моей книге «Общие основы рефлексологии человека». В нем говорится, между прочим, следующее:

«Для того, чтобы составить представление о том, как велик вклад в науку о человеке, сделанный за последние сорок лет, надо припомнить другую историческую дату и другое имя – мы имеем в виду теорию развития и творца ее Чарльза Дарвина. Глубочайший революционный переворот, произведенный в середине прошлого столетия в науке и во всем тогдашнем мировоззрении Ч. Дарвином, обосновавшим теорию развития, не мог не захватить в сферу своего влияния науку о человеке и, в частности, ту ее часть, предметом которой, является, так называемая, психическая жизнь. Именно под влиянием этого мощного стимула старая метафизическая психология, учившая о «душе», как об особой сущности, сдала свои занимавшиеся веками позиции, чтобы отойти в историю. Однако, если во всех остальных областях естествознания очистительный процесс на основе принципа развития сравнительно быстро привел к коренному изменению ранее господствовавших взглядов, то в области психологии тот же процесс, встретившись с более стойкими идеологическими преградами, принял затяжной характер и вначале привел всего лишь к компромиссу. Возникшая под влиянием дарвинского естествознания, так называемая эмпирическая психология, как наука о «душевных явлениях и законах ими управляющих», была психологией компромисса, была переходным периодом.

То, что происходит теперь в этой науке на наших глазах, и что, в громадной своей части, несомненно, связано с именем В.М. Бехтерева, как выдающегося исследователя в области физиологии мозга, есть не что иное, как конец переходного периода, конец психологии эпохи компромисса, длившейся более полувека. Учение о сочетательных рефлексах, сведенное в систему рефлексологии – это суровая и плодотворная критика ошибок, усвоенных из прошлого, расчистившая путь для построения объективной науки о личности человека – этого сложнейшего образования из всего, что существует в природе.»

Надо заметить, что рефлексология, как научная дисциплина, ныне достигла такого положения, что возникают кафедры и в медицинских и в педагогических вузах и создаются по рефлексологии учреждения (напр. госуд. рефлексол. инсти-

тут по изучению мозга, патолого-рефлексологический и др.), общества, кружки, тут же собираются съезды, издаются журналы, напр. «Украинский Вестник Рефлексологии», «Обзор психиатрии неврологии и рефлексологии» и отдельные сборники, напр., «Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы» (Лен. Госиздат и изд. Госуд. психо-неврол. академии И-та по изучению мозга), «Вопросы психо-физиологии и рефлексологии труда» (Казань), «Рефлексология труда» и др. Этим самым победоносное шествие рефлексологии может считаться в полной мере обеспеченным.

Что касается моей профессорской деятельности, то до времени первой революции 1905 г. она не осложнялась вообще никакими особыми шероховатостями. В начале сентября 1905 г. мне пришлось говорить речь на 2-м съезде психиатров в Киеве «Об условиях развития личности». В заключение я призвал к новой светлой жизни заключительным возгласом лермонтовского стиха «Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня». Мне была устроена шумная овация. Я был даже вынесен на руках из зала на улицу и посажен в экипаж. Тотчас по окончании моей речи в огромной зале начался импровизированный митинг. В зал введена была полиция по распоряжению киевского градоначальника Клейгельса, при чем произошли в той же зале аресты, еще более подлившие масла в огонь. Бедному профессору И.А. Сикорскому, как председателю организационного комитета, человеку правых убеждений, пришлось пережить много волнений и иметь немало неприятностей, но, благодаря близкому знакомству с самим Клейгельсом, ему удалось добиться освобождения арестованных и съезд, после некоторого перерыва, мог продолжаться.

В период революции 1905 г. неожиданно умер начальник Военно-медицинской академии – Таранецкий и, таким образом, пост начальника академии оказался свободным. Конференция академии, вопреки моему желанию, вверила мне путем избрания должность вр. и. долж. начальника академии, которая в течение зимы 1905-1906 гг. потребовала от меня большого напряжения. Как бы то ни было, от меня требовалось провести академию, как учреждение военного ведомства, «благополучно» сквозь бурю и натиск революции. Моту сказать, что это было выполнено с честью, но передавать здесь подробности всех происшествий, бывших за это время в академии, и ликвидирование их, было бы излишне. Было уже решение и готовность министра утвердить меня окончательно в роли начальника академии, сохранив даже за мной кафедру и директорство по клинике, но я предупредил это решение, убедившись в чрезвычайном бюрократизме всего управляющего аппарата академии. Вскоре министр Редигер сменился бездарным Сухомлиновым. С его воцарением начались уже тяжелые события в академии.

В 1913 г. моя профессура в академии неожиданно для многих, и прежде всего для меня, прерывается. Дело обыкновенно происходило из-за студенческих сходов, предупреждать которые обязаны были штаб-офицеры академии, но которые в этом, конечно, были совершенно бессильны и, удовлетворяясь своим синекурным положением, готовы были всегда сваливать на профессоров свою ответственность. Так случалось и со мной неоднократно из-за сходов, происходивших в аудитории клиники душевных и нервных болезней. По поводу этого приходилось даже вести неприятные разговоры с министром Сухомлиновым, который в отношении управления академией являлся совершенно безграмотным солдафоном. Военный совет, происходивший под председательством военного министра, издал приказ об отдаче студентами чести офицерам, подобно всем вообще нижним чинам. Начались столкновения на улице с офицерами, которые стали

избивать студентов, не отдающих чести, оружием. Первые тяжелые жертвы этого приказа, вызвавшие большую сенсацию в обществе и отразившиеся резкими выпадами по адресу грубого офицерства в тогдашней прессе, потребовали лечения в клиническом госпитале. Нечего говорить, как взбудоражило это обстоятельство студенческую среду, на стороне которой, конечно, были все симпатии общества и печати. Само собой разумеется, что все в один голос обвиняли в этом деле министра Сухомлинова, который будто бы по поводу вышеуказанного представления начальника академии о взаимном приветствии заявил: «Слишком много чести для студентов, пусть они отдадут честь офицерам, как нижние чины».

Но, когда стали происходить столкновения из-за неотдачи чести офицерам студентами академии, в вечерней «Биржевке» появилась «беседа с одним видным генералом», в которой от имени последнего заявлялось, что сами профессора, будто бы ходатайствовали об отдаче чести студентами, и что во всем виноваты профессора, а не он. Между прочим, по справке в вечерней «Биржевке» было доподлинно выяснено, что «видный» генерал в действительности был никто иной, как сам Сухомлинов, ибо при проверке беседы была предусмотрительно испрошена удостоверяющая правильность беседы подпись министра. Получилось нечто небывалое. Министр, чтобы скрыть свою глупость и оправдаться перед общественным мнением, очернил подведомственное ему же учреждение, репутация которого стояла в общественном мнении всегда высоко, создавая в течение более ста лет.

Меня настолько возмутил этот факт, что войдя в кулуары конференционного зала, где за чайным столом велась беседа профессоров, я бросил мысль, что без протеста с нашей стороны этой беседы в «Биржевке» «одного видного генерала» оставить нельзя. Не сразу, но, в конце-концов, все согласились. Решено было вопрос внести в конференцию.

По установившемуся обычаю печатные заявления и опровержения от конференции писались всегда ученым секретарем конференции. Но когда в конференции зашел вопрос о необходимости ответа, недавно избранный на эту должность ученый секретарь заявил, что он, будучи новым лицом в своей должности, не может принять на себя столь ответственной роли, и просил назначить в помощь ему для составления ответа специальную комиссию, которая и была избрана из четырех профессоров со включением меня. Ответ был составлен в выражениях достаточно вразумительных. Но вот что произошло. После напечатания ответа в той же «Биржевке», которым отпаривались все гнусные инсинуации министра, ученый секретарь, встретившись со мной однажды в коридоре академии, между прочим, заявил мне, что была прислана в академию содержащая наш ответ газетная вырезка с вопросом от главного военно-санитарного инспектора Евдокимова: «Правда-ли?» и «Кто?» Я спросил, что-же вы сказали на это? «Я указал членов комиссии, в том числе вас, включив и себя» — был ответ. Таким образом, вследствие неопытности ученого секретаря была в этом случае допущена тактическая ошибка, и вместо того, чтобы заявить, что ответ был написан от конференции академии, а потому ответственны за него все присутствующие в данном заседании конференции профессора, были названы определенные лица, составлявшие ответ по поручению той же конференции. Очевидно, что при таком ответе те профессора, кому предстоял близкий срок выслуги лет, имели в перспективе неутверждение на дальнейшее оставление в академии. Это, очевидно, был один из тех мотивов, в силу которого представление от академии о дальнейшем моем оставлении в академической профессуре, после 35 лет службы, не было

уважено министром – факт, кажется, небывалый в истории академии того времени. Правда, еще был мотив, который мог быть выставлен против моего оставления в академии – это экспертиза по делу Бейлиса, на которую я был вызван осенью 1913 года. Всем, конечно, памятно, как тогдашняя власть стремилась доказать ритуальное убийство и выставила Бейлиса козлом отпущения в этом процессе. Как известно, моя экспертиза, напечатанная в «Киевских Вестях» и затем полностью во «Врачебной Газете», а впоследствии переведенная и на немецкий язык, не мало содействовала оправданию Бейлиса, что не входило в планы тогдашнего правительства.

Как бы то ни было, мне пришлось расстаться с академией по мотивам административного порядка. На это, впрочем, я нисколько не сетовал, ибо военная муштра того времени оказывалась невыносимой во многих отношениях. Так, по приезду министра в академию, профессора должны были в полной парадной форме выстраиваться в шеренгу, в случаях приезда военно – медицинского инспектора надо было быть на выгужке и малейшее упущение в отношении формы, напр., отсутствие шпор или не застегнутая пуговица, в результате приводило к выговору и т. д.

Я не сказал еще об одном важном обстоятельстве, которое повлияло на мой выход из академии, это – создание мною Психо-Неврологического института. Его возникновение и создание, с одной стороны, явилось для меня глубоким нравственным удовлетворением, с другой стороны, сделалось предметом неодобрительного по разным мотивам отношения со стороны некоторой группы профессоров, чего нельзя было не предвидеть и заранее. Само собой разумеется, что, когда стало вырастать это учреждение, создаваемое исключительно на собранные мною средства в виде пожертвований с разных сторон, то власти постепенно перешли от доверия к недоверию, что было, конечно, неизбежно с развитием новой высшей школы, выросшей в целый университет. Дело в том, что, хотя задачи, обозначенные в его уставе сами по себе говорили о чем то новом и интересном, но когда учреждение стало оформливаться не только в ученое учреждение, но и в высшее учебное заведение с новым внутренним строем, с новыми заданиями и совершенно новым направлением в виде «Вольной высшей школы», то оно, естественно, явилось у власть имущих настоящим бельмом в глазу. И так как в самой академии, даже в среде студентов, в связи с общей правительственной реакцией, начала выявляться партия из состава «союза истинно-русских людей», за мной стали следить, сколько я заметил и «союзники» из студентов и штаб-офицеры, появившиеся с неожиданной аккуратностью на моих лекциях, чего раньше почти не бывало. Между тем, на своих лекциях мне приходилось часто возвращаться к вопросу о причинах нервных и душевных болезней и в этих лекциях неизбежно было резко отзываться о насаждении алкоголизма в стране, о капиталистическом строе, как современном зле и основной причине нестроения нашей страны, и о приводящем к вырождению бедственном положении низших слоев населения (рабочих, крестьянства), как основных причинах распространения нервных и душевных болезней.

Вопроса о капиталистическом строе мне приходилось касаться и в публичных выступлениях, что не могло не обращать на себя внимания.

«Капиталистический строй – вот основное зло нашего времени» – говорю я в одной из речей. И мы должны всемерно заботиться о достижении других, более возвышенных норм нашей общественности; на место капитала мы должны выдвинуть на первый план здоровый труд и служение истине и добру (4), и далее

в том же духе (5). По вопросу об алкоголизме, в свою очередь, мне приходилось выступать, не щадя тогдашнего спаивающего свой народ правительства. Сюда относятся мои статьи об алкоголизме (6).

Все это, вместе взятое, решило мою участь в смысле дальнейшего оставления меня на кафедре.

Хотя о моем выходе из академии много говорила в свое время печать, но должен сказать, что для меня это событие не представляло того морального ущерба, как это могло казаться другим, и я успокаивался на мысли продолжать профессорскую деятельность по гражданскому учреждению – Женскому медицинскому институту, где я одновременно состоял профессором нервных и душевных болезней, и, наконец, я рассчитывал уделять больше времени для работы в созданном по моей инициативе Психо-неврологическом институте. К сожалению, и перспектива на Женский медицинский институт скоро исчезла по независящим от меня обстоятельствам. Дело в том, что через год по выходе из академии наступил 35-летний срок моей учебной службы и по Женскому медицинскому институту, и хотя совет института ходатайствовал об оставлении меня на дальнейший срок на той же кафедре, но министр Кассо не уважил ходатайства.

Несколько позднее внезапная смерть моего же ученика проф. А.Ф. Лазурского (в первые дни Февральской революции), читавшего в Женском медицинском институте курс экспериментальной психологии, дала мне возможность продолжать профессорскую деятельность в Медицинском институте, но уже по объективной психологии или рефлексологии. Этого мне было уже более чем достаточно, ибо мне приходилось читать еще курс психиатрии и нервных болезней, и курс рефлексологии в Гимз'е, и затем еще курс рефлексологии в Педвуз'е.

Что касается моей деятельности в роли президента Психоневрологического института, то и она вскоре временно прервалась по милости того же Кассо. История возникновения и развития Психо-Неврологического института, начиная с 1903 г., когда мною было впервые внесено предложение об учреждении такого института, в руководимое мною, как председателем, Русское общество нормальной и патологической психологии, сама по себе представляет много поучительного и, принимая во внимание условия того времени, почти сказочного. Прежде всего, необходимо было найти средства для приобретения земли, построек и их оборудования. К счастью, средства стали быстро притекать, благодаря откликнувшимся на дело просвещения многим из моих пациентов или их родственникам и знакомым и субсидиям, выдаваемым сверх того и правительственными органами по отдельным представлениям института. Земля же была отведена в количестве многих десятин из кабинетских земель. Таким образом, через 4 года, после начала курсов ин-та, мы уже могли перенести их в собственное здание за Невской заставой в б. Царском, ныне Медицинском городке. Здесь я хотел бы только сказать немного слов о тех трудностях, с которыми связано в царский период проведение такой крупной по размерам вольной школы, превратившейся затем в частный Петербургский университет с 4 факультетами и 2 отделениями. Уже министр Шварц, изгнавший из университетов женщин, вошедших туда с 1905 г., стал шибко коситься на наш институт за то, что на его глазах начались его курсы в помещении тогда уже закрытых, бывших ранее опальными, курсов Лесгафта, и, с другой стороны, за то, что на наши курсы было допущено огромное количество женщин наряду с мужчинами. Но особенным бельмом в глазу для министра было то, что мы допустили в стены нашей высшей школы без всяких ограничений и слушателей угнетенной в то время еврейской национальности и допустили прием

не одних классиков, но и семинаристов и окончивших реальное образование. Не меньшим злом в глазах министра явилось то обстоятельство, что мы ввели предварительный курс общего образования, за которым уже следовали специальные факультеты. Но еще более его удручало, по – видимому, то обстоятельство, что в профессора института нами избирались наиболее прогрессивные ученые и в то же время крупные научные силы, как проф. П.Ф. Лесгафт, М.М. Ковалевский, Е.В. Де-Роберти, Бодуэн де Куртене, Дм.А. Дриль, Н.А. Карасев, Андреев, Лучицкий и др. Наконец, и некоторые научные дисциплины, введенные в курс института, не были по сердцу министру. Между прочим, в числе предметов общего высшего образования в наш устав проскользнула и социология. Последнюю, по моему предложению, взял на себя читать социолог и член по избранию б. государственного совета М.М. Ковалевский и не менее авторитетный ученый Е.В. Де-Роберти. И тот, и другой тогда почти только – что вернулись из Парижа, где состояли профессорами бывшей Вольной высшей школы. И вот, когда при одном случае в кабинете Шварца случайно зашел вопрос о читаемом у нас курсе социологии, министр не выдержал и с раздражением произнес: «какая может быть там социология. Такой науки нет, а если что и есть, то лишь одна болтовня».

Особенно недоброжелательное отношение Шварца к институту проявилось и в вопросе о льготах по воинской повинности слушателям института. Мне, как президенту института, пришлось ему первоначально докладывать этот вопрос устно. Министра я застал врасплох, на пути в кабинет. К моему удовольствию, я получил от него ответ, что он не находит препятствий к предоставлению льгот по воинской повинности нашим студентам. Эта весть, столь благоприятная для слушателей института, как молния распространилась по институту и возбудила, конечно, большое удовлетворение среди молодежи. Но каково было мое удивление, когда при представлении соответствующей бумаги по этому вопросу я встретил с его стороны категорическое «нет», при чем он даже стал отрицать, что он выразил готовность дать вышеуказанные льготы. Тут мне пришлось на это реагировать соответственной репликой. Но удалось достичь только того, чтобы льготы были предоставлены одним классикам. С этим помириться, конечно, было нельзя, ибо большинство наших слушателей как раз были не классиками, а реалистами», непредоставление же льгот по воинской повинности большинству студентов было равносильно закрытию учебного заведения. Мне пришлось поэтому ходатайствовать перед министерством внутренних дел, где я встретил, особенно со стороны заведующего соответствующим департаментом Куколь-Яснопольского, самое теплое отношение. Мне самому было предложено составить возражение на бумагу Шварца в письменной форме для того, чтобы дать ее на подпись министру Столыпину. Нечего говорить, что я не поспешил в ярких красках изобразить всю неосновательность поведения Шварца в данном вопросе. Бумага с возражениями была подписана Столыпиным и послана по принадлежности. В результате ходатайство увенчалось успехом, и Шварцу пришлось сдаться под влиянием предписания министра внутренних дел – тогдашнего премьера.

Когда Шварц ушел из министерства, мы были обрадованы, предполагая, что последует просветление в министерстве народного просвещения.

Но назначение А.А. Кассо всех разочаровало, ибо министерский пресс обещал быть при нем еще более суровым. Между прочим, один инцидент в глазах нового министра, видимо, получил особое значение. Этот инцидент разыгрался на 1-м съезде психиатров в Москве. Как раз по какому-то поводу к этому времени был не утвержден к дальнейшему служению министром Кассо московский пси-

хиатр проф. Сербский. Ему предстояло, между прочим, говорить речь на 1-м публичном заседании съезда, имевшем место в одной из аудиторий университета. Научные съезды того времени подлежали особому контролю со стороны администрации. Поэтому в первом же ряду прямо против организационного бюро, открывавшего съезд, воссел помощник градоначальника, небезызвестный Строев, человек, видимо, особенно ревностный к полицейской службе. Рядом с ним сел, видимо, его приятель из охранки с университетским кандидатским значком. Речь Сербского, полная своеобразных и резких выпадов по адресу Кассо, продолжалась недолго. Уже в самом ее начале в словах Сербского послышалась недопустимая по тому времени игра слов, выразившаяся во фразе, что он, Сербский, высказывает пожелание, чтобы такие глупые случаи (“cas sots”) (7) относящиеся, кажется, к своему удалению министром профессоров, более не повторялись. Строев не выдержал, сорвался с места и заявил, что он не может более позволить продолжение речи. В зале произошел шум и, таким образом, съезд был приостановлен распоряжением власти.

Нечего говорить, что это событие вызвало большую сенсацию во всей Москве, ибо никто не подозревал, что совершенно специальный и сравнительно небольшой съезд может оказаться государственно-опасным собранием. Приехавшие в Москву психиатры с внезапной приостановкой съезда не знали, как тут быть, возвращаться ли им восвояси, или же ждать выяснения вопроса, будет ли продолжаться съезд или нет. Это обстоятельство вызвало, в свою очередь, напряженную атмосферу в публике, заинтересованной съездом. Через три дня пришло известие из Петербурга, что съезд продолжать разрешено, но, конечно, под сугубым контролем администрации. Новое публичное заседание открывается уже не в скромной аудитории университета, а в огромном зале университета Шенявского. Публики собралось видимо-невидимо. Мне пришлось говорить первому. Прямо против меня в первом ряду сидел тот же Строев со своим соседом из охранки. Моя речь относилась к самоубийству и возможной борьбе с ним (напечатан, в «Вестнике Знания», № 2 и 3 за 1912 г.). Речь была основана, между прочим, по отношению к школьным самоубийствам, на материале, собранном официальным лицом того же министерства, тогдашним санитарным инспектором министерства народного просвещения проф. Хлопиным и опубликованном им в отдельной работе. По содержанию моя речь, конечно, касалась мрачного предмета и указывала на тяжелую действительность того времени, в виду бывших в то время массовых самоубийств, особенно среди рабочего класса, вследствие тяжелых экономических условий и правительственной репрессии, и, частью, даже среди школьников, но тем не менее речь заканчивалась оптимистическим аккордом и бодрящим смехом несмотря ни на что (8). Но это не понравилось для контролирующего уха. Сама речь однако была выслушана без остановки.

Публика встретила ее длительными аплодисментами. После речи объявлен был перерыв. Все казалось обстояло благополучно. Бюро съезда и за ним Строев вышли в кулуары. Здесь неожиданно подходит ко мне Строев и заявляет – Позвольте мне пересмотреть вашу рукопись. – Зачем это? – спросил я. – Я не очень понял конец вашей речи. – На это я заметил, что речь была произнесена, он ее слышал, а к пересмотру рукописей я не привык, и потому дать ему не могу. Тут вступились в разговор д-р Чечотт, проф. Рот и др., высказываясь против требования Строева, но он настаивал на своем. Я категорически отказал. На это я получаю ответ: – Ах, так. В таком случае я немедленно доложу градоначальнику по телефону! – Сделайте ваше одолжение, – заметил я, как бы подогревая его

раздражение. Когда Строев вернулся от телефона, я его еще переспросил: — Ну, что же вам сказал градоначальник? — Градоначальник сделал мне выговор за то, что я не остановил вас во время вашей речи, — был ответ. — С чем вас и поздравляю, — говорю я.

Это маленькое бравоирование с моей стороны однако отразилось на мне, как президенте Психо-Неврологического института далеко не благоприятно. Дело в том, что Строев через московского градоначальника сделал донос по двум линиям: министру внутренних дел и министру народного просвещения, в котором он указывал на противоправительственное содержание моей речи и на недопустимые будто бы по содержанию мои стихи, которыми заканчивалась речь. Министр внутренних дел, по видимому, достаточно привык к разным выпадам по адресу высших властей и потому никак не реагировал или, быть может, только приказал тайно внести соответствующий штрих в моем кондюите. Что же касается министра Кассо, то при первом же докладе ему о постройке нервно-хирургической клиники в нашем институте, он с первого же слова, отложив доклад в сторону, заявил: «Ну, это мы обсудим потом, а теперь вы лучше мне скажите, что вы говорили в речи, произнесенной в Москве на психиатрическом съезде». Я должен был разъяснить, что моя речь была в общем лояльная по содержанию, в политическом же отношении ничего не представляла особенного, что же касается школьных самоубийств, то я пользовался официальными данными министерства. На все это Кассо заметил: «Ну, вы дадите мне письменный ответ по этому предмету». Действительно, возвратившись домой, я получаю письмо за подписью Кассо, в котором он просит сообщить, что я говорил на съезде в Москве в своей речи по отношению самоубийств. Вопрос как будто бы не касался министра или министерства, но, очевидно, он подразумевается. На запрос я дал соответствующий ответ с приложением многих газетных вырезок, в котором передавалось содержание речи, достаточно подробно. Этот ответ, однако, не удовлетворил министра. Последовал новый запрос дать более детальное объяснение, в котором требовалось привести и заключительные стихи.

Пришлось и это исполнить. По истечении некоторого времени справляюсь у заведующего высшими учебными заведениями Камчатова о результатах. Узнав, что дело по резолюции министра сдано в архив, я спрашиваю, что это значит? Мне было сказано, что это ничего. Между тем, вскоре совет Психо-Неврологического института должен был представить, согласно уставу, мое переизбрание в должности президента на новые пять лет. Министр меня не утвердил президентом, и при том без всяких мотивов, хотя переизбрание это было единогласным, к тому же должность президента с самого основания института не оплачивалась, а сам институт содержался на частные средства.

Надо, однако, сказать, что подача соответственного представления через депутацию профессоров премьеру Коковцову, как я узнал впоследствии, оказалась делом не бесплодным. Дело в том, что Кассо, как можно было узнать со стороны, возымел намерение закрыть Психо-Неврологический институт, а для начала признал необходимым «снять его главу». Чем вызвано было это намерение, сказать трудно, но можно только догадываться. Дело в том, что в так наз. всеподданнейшем докладе С.-Петербургского градоначальника Драчевского по поводу студенческих беспорядков в Петербурге, как я мог видеть собственными глазами (документ мне был показан доверительно в министерстве нар. просв.), значилось, что как всегда на первом месте стоит Петербургский университет, затем следует Психо-Неврологический институт с его левой профессурой, и затем следовало

подробное изложение наших студенческих демонстраций и протестов. Против этого места всеподданнейшего доклада Николаем был карандашом помечен следующий запрос об институте: «Какая польза от этого института России. Желая иметь обоснованный ответ» (9).

Однако, сделанное Кассо представление о закрытии института в совете министров, как я узнал стороной, не прошло в нем, а при обмене мнений по этому предмету было высказано, что так как институт привлек в свои стены огромное число учащейся молодежи (в то время числилось на всех факультетах института что-то около 8000 слушателей), то по тактическим соображениям закрывать институт неудобно, а во власти министра представить новый устав института и вообще так его преобразовать, чтобы в нем все было согласовано с интересами министерства.

В результате совет института получил предписание министра Кассо представить новый устав. Получив эту бумагу, мы в совете поручили выработку устава комиссии. Комиссия, проработав несколько месяцев, передала проект устава в совет; последний найдя в нем что-то, что надлежало изменить, передал его для доработки в ту же комиссию. Та же процедура повторилась еще и еще раз. Время, таким образом, шло. Запросы шли за запросами, мы все оттягивали представление, не видя от него ничего доброго. Наконец, проект устава мы представили. Нечего говорить, что министр его забраковал и, вместо того, чтобы сделать те или другие указания совету о неудовлетворительности каких-либо пунктов проекта, поручил составление устава департаменту народного просвещения, в лице Н.О. Камчатова. Проект устава был им изготовлен и показан мне в министерстве. Я заявил, что на себя ответственности за него не беру и предложил просмотреть его вместе с нашим деканатом. Условились собраться у меня на квартире на Каменном Острове. Здесь проект был рассмотрен в присутствии меня и всех деканов и с участием его составителя. Были внесены те или другие поправки, и дело сладилося. Но проведение будущего устава, в котором значилось, что Психо-Неврологический институт имеет в себе частный университет, а слушатели, по окончании получают все права лиц, окончивших государственные университеты, выпало уже на долю преемника Кассо — министра Игнатъева, ибо Кассо по возвращении из-за границы во время уже начавшейся войны, где он был опознан и избит, сильно занемог, а затем у него был обнаружен рак прямой кишки, и он вскоре умер.

С назначением Кульчицкого попечителем петербургского округа, было произведено подробное обследование института на предмет выяснения — может ли институт отвечать требованиям университетского преподавания. Результаты этого обследования, в котором участвовал и сам Кульчицкий, оказались вполне благоприятными. Кульчицкий отозвался, что институт по оборудованию не уступает любому провинциальному университету. Преподавание сказалося также на соответствующей высоте. В результате, новый устав был утвержден министром, и я был восстановлен в должности президента. При гр. Игнатъеве институт прожил благополучно, хотя в нем бывали, как всегда, бурные студенческие сходы, но когда сменил его Кульчицкий, а институт не переставал бурлить, и при том еще в большей, против прежнего, степени, то пред самой революцией (за 3 дня) было сделано распоряжение министром Кульчицким о закрытии института. Это предписание до самого института, однако, не дошло, так как наступили дни Февральской революции, и царские министры были арестованы. Институт был спасен от гибели.

После Октябрьской революции институт был принят на госбюджет под наименованием 2-го университета. Со временем часть его факультетов – педагогический и юридический, к сожалению, не без участия некоторых из наших профессоров, были объединены с 1-м университетом и в нем растворились. Другая часть института, как, напр., химико-фармацевтическое отделение, превратилась в самостоятельное учреждение под названием Химико-фармацевтического института, ныне сделавшегося факультетом Ленинградского медицинского института (бывшего женского). Ветеринарно-зоотехническое отделение, начавшее было существовать при медицинском факультете, было превращено в Зоотехнический ветеринарный институт, прямым же преемником Психо-Неврологического института с его университетом являются ныне в своей учебной части Государственный институт медицинских знаний или ГИМЗ, представляющий собою мощное медицинское учено-учебное заведение Р.С.Ф.С.Р. Что же касается научной части, то продолжением института служит в настоящее время Государственная Психо-Неврологическая академия с Госуд. рефлексологическим институтом по изучению мозга и целым рядом возникших из ее недр научно-практических учреждений, каковы Патолого-рефлексологический институт имени акад. Бехтерева, Детский обследовательский институт им. Грибоедова, Отофонетический институт, Институт социального воспитания, Воспитательно-клинический институт им. акад. Бехтерева, ныне Психо-Неврологическая школа – санатория для беспризорных, Институт глухонемых, Центральная вспомогательная школа, Педологический институт, ныне педологическое отделение Института мозга и др. Продолжением педагогического факультета Психо-Неврологического института является ПЕДВУЗ педологии и дефектологии, недавно слитый с ПЕДВУЗ'ом им. Герцена.

Нечего говорить, что уже самый перечень учреждений, объединяемых в научном отношении Психо-Неврологической академией и возникших при моем непосредственном участии, свидетельствует о том, какие широкие перспективы развернулись для научно-практической работы после великого Октября.

Но нельзя скрыть и того, что в первые годы Октябрьской революции научная деятельность в означенных учреждениях, и в том числе, лично моя деятельность, затруднялись в невероятной степени по причине тяжелых материальных условий, особенно в период голода и военного коммунизма, при отсутствии света в домах и в учреждениях, при невероятном иногда холоде в последних по причине недостатка или даже почти полного отсутствия средств сообщения.

Многие ученые, как известно, бежали за границу. И мне, конечно, представлялись разные возможности переезда за границу; но я ничуть не завидовал тем, которые предпочли за границу своему дому, хотя должен сказать, что мне вместе с семьей приходилось в голодные годы питаться нередко лишь овсом и ржавой селедкой или воблой. Однако, другим приходилось в это время еще хуже, ибо, как известно, вымикали от голода даже целые больницы и гибло от голода неисчислимое количество рабочих и крестьян. Нам же помогал Дом ученых, организованный по инициативе В.И. Ленина и М. Горького.

В своих научных учреждениях я видел за эти тяжелые годы не мало нестойких лиц даже среди своих ближайших учеников. Эти колебания морального свойства не могли не отразиться пагубно на правильном ведении научной работы. Нужно было во что бы то ни стало поддержать колеблющихся, и я воспользовался случаем для этой цели, когда мне пришлось делать доклад в публичном заседании конференции Госуд. Института по изучению мозга в январе 1919 г., на тему

«Основные задачи рефлексологии физического труда» (см. «Вопросы изучения и воспитания личности», Петроград, № 1, 1920 г.). В заключении доклада я высказал свои мысли следующим образом: «На переломе истории нельзя стоять на перепутьи и ждать, – нужна воля к действию, к строительству и созидательной работе, и для нас, научных деятелей, которые всегда отдавали свои силы на служение человечеству, не должно быть колебаний. Мы должны отдавать себе отчет, будем ли мы с народом, который, завоевав себе свободу, хочет строить свое будущее сам и зовет нас соучаствовать в этом строительстве. Может ли быть сомнение в ответе на этот вопрос? Мы поэтому должны стремиться к тому, чтобы сократить, по возможности, время разрухи, отдавая всю сумму наших знаний и все умение на созидательную работу в настоящих условиях страны и на пользу народа. В этом отношении и новое учреждение – Институт по изучению мозга и психической деятельности – при своем развитии может дать новой молодой России то, чего не могли дать научные учреждения в прежнее время, и это потому, что теперь народ, почувствовав себя свободным, проявляет необычайную жажду знаний, которая открывает широкие перспективы не только в строительстве государственном и социальном, но и в строительстве научного характера».

И я не ошибся. Речь была одобрена собранием, и я могу с удовлетворением сказать, что наши сотрудники Психоневрологической академии и Института по изучению мозга с тех пор заняли правильный курс в своем отношении к общей атмосфере и к советской власти и вели, в меру возможности, каждый для себя свою научную работу, прилагая к ней при тяжелейших условиях максимум энергии. Об этом свидетельствуют и издававшиеся журналы и сборники при моем участии, как редактора, как, например, «Вопросы изучения и воспитания личности», «Вестник Воспитания» (вм. с Басовым в Орле), «Вопросы психофизиологии и рефлексологии труда» (вм. с Н.А. Миславским в Казани), «Обзор психиатрии, неврологии и рефлексологии», «Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы», «Вопросы изучения труда», «Рефлексология труда» и др.

Видеть и переживать спокойно и безропотно тысячи жертв я не мог, и мне простой инстинкт подсказал сделать на этом предмету публичное выступление, написав в газеты обращение к врачам всего мира с просьбой протестовать печатно и устно против неслыханного злодеяния «цивилизованных» стран в виде заведомого и массового убийства наших граждан, особенно ни в чем повинных детей и немощных инвалидов, – убийства, которым мы обязаны блокаде нашей страны. Это был крик, вырвавшийся у меня невольно, как по рефлексу, которому я не придавал даже особенного значения, но которому было придано значение помимо меня. Мое обращение было опубликовано 1 января 1920 года во многих наших газетах и передано по радио за границу (10).

Надо заметить, что этот мой протест против блокады далеко не послужил мне на пользу. Эмигрантщина меня громила восторженно, заявляя о моей принадлежности к большевизму. Об атом говорили много и в нашей публике.

Отъезд ученых за границу, мне казался, несмотря ни на что, столь тяжелым для страны и катастрофически опасным явлением, что когда впервые наша организованная молодежь напечатала в газетах призыв о желательном возвращении русских ученых из-за границы, я не выдержал и признал необходимым особым письмом в газеты поддержать этот призыв о возвращении ученых для создания в стране новой культуры.

Но вот Советская страна мало-помалу очищает свою территорию от белых. Ученые учреждения постепенно начинали оживать и мало-помалу в течение

нескольких последних лет мы, ученые Советской России, под прекрасным лозунгом «смычка науки и труда» стали вести, быть может, кропотливую, но, действительно, научную работу, которая открывает для будущего расцвета Советской России неисчислимые горизонты и перспективы.

В заключение упомяну, что уже много лет, как я был польщен избранием меня в Ленинградский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, где работаю в секции по образованию.

В числе тех мер, которые мною были предложены в этой секции, упомяну о настойчивом проведении, в целях скорейшей ликвидации безграмотности в нашей стране, Института передвижных школ, в виде так называемых бродячих учителей. При условиях нашей страны, в виду бездорожья и редкости населения, эта мера, как временная, должна иметь особое значение по насаждению грамотности в населении, и она уже принята для Ленинградской губернии.

Из других мероприятий укажу также на мое предложение ввести такой же Институт бродячих агрономов или, вернее, сельско-хозяйственных учителей, которые бы переходили, для соответствующих указаний по сельскому хозяйству, из деревни в деревню и давали бы нашему крестьянину на месте, т.-е. на его поле, соответственные указания.

Наконец, устройство площадок по физическому образованию в наших деревнях при недостатке отпускаемых средств могло бы быть осуществлено при посредстве таких же бродячих учителей физкультуры, которые, организовав под своим руководством группы молодежи из физкультурников, могли бы затем переходить в другую деревню, для той же цели, из этой – в третью и т. д.

В отношении воспитания, в интересах будущих поколений, мои мысли были высказаны еще в докладе «О социально-трудовом воспитании», произнесенном на съезде по экспериментальной педагогике (см. брошюру «О социально-трудовом воспитании», Петербург, 1917 г.). В этом докладе я говорю в заключительной части:

«Вообще необходимо всемерно развивать в детях, наряду с инициативой, стремление к деятельности на общую пользу в форме совместного труда, тогда как все, что приводит к розни между людьми, должно быть совершенно и отовсюду изгоняемо. В виде основного условия такого воспитания необходимо образование среди детей общинного начала. Необходимо, чтобы вместе с этим социальность и право, а равно и чувство гражданского долга вкоренилось в будущего человека на подобие инстинкта, чтобы блага общества всегда им ставились выше своих личных выгод, чтобы он сделался всегдашним ревнителем общественных интересов и защитником их везде и всюду, чтобы его всегдашним идеалом была возможная помощь общественному делу, клонящемуся к общему благу.

«И не одна только помощь «ближним», как основа гуманности, должна быть лозунгом социально-трудового воспитания, но, главным образом, помощь социальному целому, причем общечеловеческие идеалы должны быть признаваемы высшим достижением морали. Иными словами, нужно заботиться о таком социально-трудовом воспитании, которое – создавало бы из человека истинного гражданина – демократа и в то же время закаляло бы его энергию для общественной деятельности, уравнивало бы всех необходимостью трудиться на общую пользу, в меру их сил и способностей, и которое развивало бы в человеке социальные инстинкты, вкореняя их с самого детства.

«Социально-трудовое воспитание должно подготовить в будущем новый тип социальной личности с полным сознанием гражданских прав и обязанностей,

который понесет впереди себя знамя единства, свободы и равенства между всеми вообще людьми и явится хранителем лучших основ гражданственности, свободы и братства.

«Служение обществу должно сделаться своего рода религией школьного воспитания. Оно должно чувствоваться детьми даже не как должное, а как необходимое и неизбежное, как внутренняя потребность, как оправдание своего бытия».

Лучшая религия с моей точки зрения есть религия социального героизма в смысле социальной жертвенности, о чем я писал в статье: «Бессмертие человеческой личности как научная проблема». Это была речь, произнесенная на акте Психо-Неврологического института и напечатанная в «Вестнике Знания» в 1916 г., где я бессмертие рассматриваю, конечно, не в религиозном смысле, а в смысле социального бессмертия.

Мне кажется даже, что пропаганду социального героизма (11) следовало бы ввести в воспитание наших детей и юношества.

Это и осуществлялось под моим руководством сотрудниками Воспитательно-Клинического института, где дети посвящали вечера (по одному разу в неделю) рассказам в доступной детскому уму форме о тех или других деятелях, преодолевших жизненные препятствия к достижению социально-полезных целей, напр., о Ленине, Спартаке, Колумбе, Линкольне и др. Такие рассказы, с демонстрациями в фонаре, дети слушали с напряженным вниманием, без конца затем обсуждали предмет беседы и прорабатывали ее последующей инсценировкой.

Далекий от всякой политики, я стою (как ученый, а не политик) на общечеловеческой платформе, и потому я ищу идеологического выхода из старых форм жизни, в целях – создания новых ее форм, связанных с раскрепощением народов и устранением эксплуатации одной нацией других наций и угнетения одним человеком другого. Поэтому, в начале мировой войны в публичной речи я высказал свои мысли против войны, как мог по тогдашнему времени, когда то и дело в речах различных ораторов слышались отзвуки старого гимна «Гром победы, раздавайся». Речь эта была напечатана затем в «Вестнике Знания» за 1915 г. под заглавием «Лев Толстой и единение народов». В этой речи я, между прочим, говорю: «Мне представляется настоящая война в виде тяжелого кризиса всей вообще современной цивилизации, отрицательные стороны которой так бичевал Л.Н. Толстой». И разве на самом деле можно оправдывать существование такой цивилизации, при которой человеческий ум изощряется более всего в изобретении смертоносных орудий, когда он весь напрягается в целях сокрушения т. н. врагов, которых он завтра назовет своими братьями? Приводя затем миролюбивую речь базельского пастора Лимбаха, я говорю, что истинное единение народов возможно только при обновлении жизненных условий, при разоружении народов, при новых социальных реформах и при новом укладе международных отношений. Тем не менее, человечество должно, обязано найти после этой войны новые пути к достижению идеалов мирной, братской жизни, должно отрешиться от старых жизненных норм. Для этой цели, — говорю я ниже, — должны получить, прежде всего, право на самобытие и развитие все поработанные ныне культурные народы Европы и, вместе с тем, должны быть возможно справедливее размежеваны границы отдельных воюющих стран.

Это первая прочная основа мира, который должен быть в результате войны.

Вторая основная причина истинного мира должна заключаться в разоружении народов до той степени, чтобы была возможность обеспечить лишь внутреннее спокойствие государств. «Не должно быть также деления народов внутри

страны на господ и париев или гонимых, ибо все одинаково несут свои обязанности по отношению к государству и его защите».

В заключение скажу, что в результате мировой войны, прошлое России, казавшееся извне столь величественным, кануло в вечность и возврата к нему нет. На смену великой России, теперь отошедшей в историю, мы имеем великую Федерацию народов, объединяемых СССР, в которой каждый народ, будучи свободным, чувствует себя уже теперь равным братом во всей Союзной семье. Этому то новому великому государственному организму открываются великие возможности не только в сторону социального прогресса, но и прогресса научного.

Закончу это мое жизнеописание последней строфой стихотворения Тихобережского, написанного после окончания гражданской войны в России:

«И пусть, на месте масс поработанных, в веках живет и крепнет и цветет союз всех стран объединенных, забывших старый тяжкий гнет!»

Авторские ссылки В.М. Бехтерева:

1. Некоторые из более ярких воспоминаний об этой военной эпопее можно найти, между прочим, в позднейшей моей статье под заглавием «Софийский съезд и впечатления из Болгарии» в «Вестнике Знания» за 1910 год.

2. См. напр., мои статьи «Социальном отборе» – «Вестник Психологии» и “Nord und Sud” за 1912 г., «Природа» за 1916 год и др.

3. Об этом, между прочим, знаменитый писатель упоминает в своей книге «Мои университеты». Ред.

4. См. Труды Съезда психиатров в Петербурге в 1911 г. и отд. издание.

5. В. Бехтерев. Вопросы нервно-психического здоровья в населении России. Отд. брошюра.

6. В. Бехтерев. 1) Вопросы алкоголизма и меры борьбы с развитием его. 2) Об алкогольном оздоровлении. 3) Отравление народа и физическое и нравственное его оздоровление 4) Существенное в вопросах алкоголизма и другие брошюры.

7. В произношении слышится, как Кассо.

8. Эта речь была напечатана в «Вестнике психологии». Правда, она была сильно сглажена в печати.

9. См. статью «Из резолюций Николая II» – «Былое» 1918 г., № 12, стр. 143.

10. В этом протесте, о котором я ни с кем не советовался, я видел лишь моральное удовлетворение для самого себя, но впоследствии я узнал, что он не пропал втуне. В то время уже велись переговоры о снятии блокады для чего тов. Литвинов пребывал тогда в Дании. В иностранной печати устами бывших наших министров только и заявлялось, что надо во что бы то ни стало душить большевиков, а вместе с ними, очевидно и всех оставшихся в Советской стране. Мой голос явился из самой Советской России и прозвучал в ином тоне. Как это отразилось на переговорах о снятии блокады, мне, конечно, осталось неизвестным, но знаю, что через две, приблизительно, недели из-за границы в наших газетах появилось известие, что блокада снимается. В действительности оказалось, что это было лишь теоретическое заявление, практически же блокада продолжалась еще некоторое время.

11. См. мою работу «Бессмертие личности, как научная проблема». «Вестник Знания» 1916 г.»

6. ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ОГОНЕК» К В.М. БЕХТЕРЕВУ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПОДГОТОВИТЬ К ИЗДАНИЮ АВТОБИОГРАФИЮ (архив мемориального музея В.М. Бехтерева, фонд VII, ед.хр. 25)

«ОГОНЕК»

Редакция

Москва, Тверская, Б. Гнезниковский переулок, 5

Тел. 2-96-12.

22 сентября 1925 г.

Многоуважаемый Владимир Михайлович!

Редакция журнала «Огонек» вводит отдел под названием «Страна должна знать своих ученых».

В этом отделе еженедельно с 15-го октября будет появляться биография одного из наших советских ученых с мировым именем. В биографии, кроме обычных сведений, должны быть отмечены:

- 1) бытовая и социальная обстановка, в которой сложилась творческая личность ученого,
- 2) проблемы, которые ставил перед собой научный работник
- 3) методы (основания) с помощью которых эти проблемы разрешались
- 4) те внешние обстоятельства, которые толкали мысль ученого к правильному разрешению поставленной проблемы
- 5) проблемы, разрешить которые предстоит в той области науки, в которой преимущественно работает данный ученый.

Желая дать наиболее правильный материал для данного отдела, обращаемся непосредственно к Вам с покорнейшей просьбой предоставить нам свою автобиографию.

С приветом.

Редакция «Огонек».